



ТРЕТИЙ ВЫПУСКНОЙ

Любава Игоревна Горницкая родилась в Ростове-на-Дону. По образованию филолог, кандидат филологических наук. Прозаик, много пишет для детей. Член тайного ордена детских писателей «Мыхухоль». Публиковалась в журналах «Александр», «Кольцо А», «Север», «Урал». Автор романа-антиутопии для подростков «ОЛИМП(и)АДА». Финалист премии имени В.П. Крапивина (2021), премии КЕНГУРУ (2022), лауреат российско-итальянской премии «Радуга» (2022). Живёт в Ростове-на-Дону.

Ханна впервые умирала в месте, где положено жить. Родильный приют купца Попова занимал южный павильон особняка, отданного благотворителем под нужды лечебницы. Жизнь Ханны мерцала тускло, не пробиваясь своими голубино-сизыми искорками сквозь яркую и злую осень фальшивого городка Нахичевани. Настоящий — древний, уже три тысячи лет как ощерившийся в мир островерхими каменными башенками — находился далеко, за горами и лесами. Или, скорее, за душной опожаренной прикавказской степью. Этот же, привычный, скрал его имя, приклеив неловкое «на Дону», и тулился к Ростову боком. Не то сосед, не то независимая приживалка. Он прочил Ханну в новые дочери, смуглолицые, привыкшие к звукам падающих каштанов, снующие по улицам подобно пчёлам с гербового щита. Но город ждал живых. А Ханна умирала.

Повитуха кое-как выпутала из пуповины ребёнка, синего от удушья, возилась умело, колдовала с животиком и грудиной. «Повивальные бабки — ведьмино семя. Не тому, ой, не тому за жизнь твою она пообещала!» — после нашёптывала бабушка. Бабка и бабушка не одно и то же. Ханна знала. Но знала после, выцарапавшись из небытия. Уже обещанная, наверняка, некой силе, собирающей детские души. За окном от вечного ветра мело рыжими листьями.

— Выпустило её. Жить будет, болезная, — вздохнула повитуха.

И Ханна жила. И, подрастая, слушала повторяющийся рассказ о своём первом выпускном из смерти.

Ханну звали Катя. У особенных два имени — настоящее и людское. На людское полагалось откликаться на улице и в школе, называться им незнакомцам. Людское писали в метрике. Людское притягивало бесконечных тёзок. Настоящее знали только дома. Внушали и скрывали. Ханна не понимала почему. Просто мимо неё катился пёстрый ком событий, безынтересный по малолетству. В первый год её жизни родные прятались по подвалам. От красных, белых, бандитов, ото всех, шедших югом и пытавшихся занять Ростов с Нахичеванью наудачу. После успокоилось. Оставалось только приноровиться к новой власти, съехать туда, где забудут купеческие корни. Так случилась

комната в Ростове, на Новом поселении, с гулким трамваем за окном. Ханна привыкла бежать вдоль линии, подле звонких рельсов, догоняя вагон, падать на мостовую, смеяться, опять догонять. У неё выходило быстрее, чем у приятелей-мальчишек, те злились, толкались так зло и метко, что, падая, она сбивала колени в мясо. Но скоро Ханна научилась драться. Дома не переводились гневные соседки:

— Катерина ваша сына мне скалечила!

Бабушка смотрела на жалобниц с пренебрежительной усмешкой. Стояла, сухая и длинная, похожая на корявое древнее дерево, и глядела так, что чужие матери сами ретировались из комнаты боком. Ханне она говорила вечерами одно и то же:

— Надо — защищайся. А просто так в драку не лезь. Просто так лезет одна шпана и босяки. Помни свою кровь.

Кровь проступала на царапинах и легко смывалась под струёй из сипящих уличных колонок. Только бабушка твердила об ином. О тайном имени, которое доступно лишь своим. О вовремя выправленных фальшивых документах, купленных в период мытарств по подвалам. Отчего-то в Ростове лучше оказалось, по мнению бабушки, быть Катей, чем Ханной. И называть родней не мать, тихо ушедшую в родах, а отца, залётного комиссара, оставшегося под Крымом в вечном подводном плену. Хан-

на иногда воображала, что папа живёт с русалками из старинных книг, заплетает им косы и на илистом дне рассказывает долгие повести о революции. В школе комиссаров звали героями, а Катю — геройской дочерью. В мире белой комнатки с видом на трамвай, где Катя преображалась в Ханну, бабушка именовала отца исключительно поддцом. Его кровь помнить не стоило, она текла не в Чёрное море, а в некую геенну адову. Ханна точно не знала, кто такая геенна, наверное, та вонючая и тонконогая зверушка, что живёт в зоосаде. Сказка про русалок ей нравилась определённо больше, и она научилась, послушно кивая бабушке, придумывать по-своему.

Мир её полнился людьми и языками. Привычная к обществу мальчишек, она жила на улице, забегая домой лишь наскоро перекусить и попить воды. Лучше незаметно, чтобы не оставили готовить уроки, читать книги, заниматься прочим правильным и скучным. Стремглав на общую кухню, пара судорожных глотков, прикинув губами к крану (тратить время на стакан или чашку — роскошь). Хлеб с маслом и сахаром удобно пережёвывать на ходу, прыгая по лестнице вниз через ступени.

— Ты не божья, ты не дайбожья! — шипела гневно вечерами бабушка.

Но до вечера бывали плотные жаркие дни. Ханна шаталась с

мальчишками по рынку, улыбалась приветливым нахичеванским армянам и пробовала их соления, не покупая. По-армянски она знала мало, но достаточно, чтобы разжиться скибкой бочкового арбуза или квашеной капустой. Во флигельках при рыночных проулках обретались люди с именами, похожими на её тайное, и иногда она выдавала на идише что-то из бабушкиных уроков, и её угощали молоком, вынося к крыльцу эмалированные кружки. Иногда она помогала дородным станичницам в расписных платках найти нужную подворотню, куда нырнёшь — и вот он, базар! Станичницы были странного народа казаков, и говор их походил на русский только отчасти. Ханна впитывала чужие наречия во всей их восхитительной местной мешанине. Дома забывалась, выдавала что-то на знакомом, и бабушка качала седеющей головой:

— Был град вавилонский великой блудницей и пал...

— Мы в Ростове живём! — отмахивалась Ханна.

И представляла себе «павший» город, состоящий из бумажных домиков. Такие клеили из папиросной бумаги на уроках труда. Город рушился из-за сквозняка. Раму кабинета поддувало. Однажды Ханна из глины слепила тонконогую зверушку. Посадила у хрупкой халупки с прозрачными стенами.

— Это кто, Катенька? — спрашивалась учительница.

— Гиена.

Ханна чуть не добавила «огненная», но всё же постеснялась. Красный карандаш для росписи ей добыть не удалось.

Ко второму выпускному она пошла семимильными сказочными шагами на шестнадцатом году жизни. В тот год она давно уже как перестала носиться за трамваями, зато полюбила ходить в кино. Показывали фильм про цирк, где точёная женщина со светлыми кудрями баюкала темнокожего младенца. В зале шушукались сочувственно старые армянки, молоденькие станичницы-казачки, иные и разные, жившие в южной духоте. Ханна жадно впитывала фокусы и песни, наблюдала за смешением тёмного и светлого и совсем не помнила свою кровь. Человек, покупавший ей билеты, был чужим и недайбожым. Когда-то он со злости толкал на мостовую, к самым рельсам, а после зажимал разбитый нос. Нынче же они бродили вместе по городу, ходили в кино и неловко целовались по углам. Он называл её Катенькой, она молчала, потому что верила ещё ровно на людское имя. Однажды они долго плутали, пересаживаясь с трамвая на трамвай, шли пешком и выбрались под стрекот сверчков к оврагу-воронке. Стояли, смотрели с обрыва на пятна светлячков, и Ханна не сталкивала чужих рук с плеч.

— Осторожно тут. Говорят, кусить могут. Змеи ползут...

Ханна рассмеялась. И пошла в темноте по густой траве. Сбросила босоножки, ощущала шелковистые стебельки. Змей да змеица, примите меня, приглашите на свадьбу, сделайте своей! Я сделаюсь и вашей крови! Но были лишь тишина и светлячки.

— Скаженная! — шепнул восторженно парень.

И ухнул за ней по склону. Они сошлись внизу, сплелись ладонями. Ханна не сопротивлялась и легко отвечала на движения елозящих рук. Небо над балкой, названной местными Змиёвской, укоряюще наблюдало за их грехом. «Я Катя. Я комиссарова. Пусть батя русалкам крымским споёт обо мне. Плевать!» И Ханна умирала, перерождаясь в Катерину. И её настоящая кровь капала на подол нарядного белого платья в синий горошек.

Пожились они через пару лет, и бабушка шептала горестно на идише, когда оставалась одна, а при людях улыбалась, желая многие лета. Померла она через год, словно окончательно отмерив тем второй выпуск, принадлежащий Кате. Но иногда снились сказочные города, шорохи, и вскрики, и шёпот на чужих языках, и Катя ночью обращалась в Ханну. К Змиёвской балке она с мужем по молчаливой договорённости больше никогда не ходили.

Двадцати четырёх лет после пары выкидышей Катя понесла. Пила много воды, выташнивала

тревогу, глотала май и мысленно просила судьбу сохранить зачатое. Людское и настоящее мешались в ней, и кроме веры в женскую больницу она молилась бабушкиному Богу и — на всякий случай — крымским русалкам отца-комиссара. Мужа взяли на фронт в июне, с самым началом войны. Ни Катя, ни Ханна не волновались. Надолго не продлится. Победят — вернётся.

В октябре, когда до разрешения от бремени было ещё далеко, в город вошли чужие. Катя возвращалась в бабушкино прошлое, скитаясь по подвалам. Чужие могли схватить за руку и утащить в погибель или в их далёкую страну. Потом они съехали, и Катя убедилась, что всё закончится хорошо. Но уже не изменяла старой привычке называть себя мысленно Ханной. «Храни меня что угодно, только живой». Дочь она родила незадолго до второй оккупации и ровно за три дня до мужней похоронки. Записала Лидией, а про себя определила к людскому настоящему — бабушкино — имя Ева. Подрастёт дочурка, там и узнает, как её зовут.

Сдали Катю соседи. За таких, как она, чужие расстреляют, если скрыть. Потому забрали её с остальными, теми, что с жёлтой звездой. И Катя вновь сделалась Ханной. Признала место, где змеи свадебки играют. От Змиёвской балки шёл безостановочный дикий крик. Трещали автоматы.

Дочь Лидия, она же Ева, была, ей на счастье, оставлена ещё до облавы на приглядеть подруге. Ханна же ступила в знакомую траву. Выли женщины, плакали дети. Начинался третий выпускной. Ханна вслушалась в мешанину звуков и зажмурилась. Ишла по траве, вдоль гудящих выстрелами, к бабушке, в вечное лето, до тех самых пор, пока выпуск не стал окончательным.

Лидочка выросла в детском доме. О своём подлинном имени Ева никогда не узнала. Выучилась на художницу, рисовала декорации для драматического театра. Но известность принесла ей картина. На обрыве над Змиёвской балкой — шеренга. Дети, женщины, старики. Напряжённые ломаные фигуры. Стоят линейкой, ждут. А от автоматчиков — одни расплывчатые тени. Лидочка по младенчеству совсем не помнила войны. И что её толкнуло рисовать выпуск в смерть — не знала.

Ничейные дети

Ехать к детям без оружия Одинокое не решался. Табельного ему не полагалось. Но на остров Зелёный соваться без револьвера — не вернуться. Без того место гиблое. Анечка предупредила: не ходи, не вздумай, поберегись. Её волосы выцветали на буровой фотокарточке. Анечка — она как все кладбищенские. Несчастье чувствует.

Познакомились-то с ней, красивой, давным-предавно. В двенадцатом году, на Всехсвятском погосте. Лето стояло ветренное. Когда Одинокоев клялся торжественно древнему эскулапу Гиппократу, губы иссохлись да потрескались.

Меж прогнивших крестов да косых оградок днюют и живые. Так, дурью маются. Декаденты, или как их там, болезных. Анечка носила вуали-соты и волнистые платья ночных цветов. Курила трубку, кашляла дымом. Наизусть знала страницы из романа модного писателя-истерика. Вязкая история, душная. «Навыи чары». По таким книгам, позвольте, диагнозы ставят. И, конечно, умела толковать приметы и суеверия. Она-то и рассказала Одинокоеву о том, что на острове Зелёном время становится и мёртвые бродят наравне с живыми. Тогда он, только выпустившись, уже начинал практику хирургии. И верил в чертовщину не более, чем в приличное жалование. Потому все бредни о жертвенных капищах терпеливо слушал только ради последующих поцелуев. Но вот же, припомнил. Десять лет прошло с их первого свидания, год уже, как он перестал мотаться по степи и осел в Ростове. А всплыло в голове лишь сейчас. Хотя чего бы. Подумаешь, командируют. Ну, приют для бездомной детворы. В скверном месте. Так там инспекции на день. Быстрый осмотр — и назад в город, до темноты.

Только револьвер бы. На всякий случай.

Зелёный тянулся к Ростову когтистыми деревьями с воды. Нормального моста туда не вошло. Один понтонный: плавающий, разборный, недоступный большую часть года. А ещё не было там жилья. Ни во времена купеческие, когда искали выгоду в каждом клочке земли, ни нынче, в тревожном новом мире. На весь остров — единственный дом, приютивший воспитательную богадельню для дефективных. Диво-дивное по нынешним меркам. В газетах не опишут, побоятся. Но так-то местные знали: по Донской области голод катится липким комом. Прибирает малолеток. В одном Первом Донском округе девятнадцать детских домов уже прикрыли. А сколько на очереди? Тут, в Ростовском уезде, было посытнее. Но дом призрения на Зелёном казался нелепицей. Да и мёрли там, как мухи. И не с голодухи или от чумы с холерой. От неведомой хвори. До больниц в город пациентов не довозили. Живыми, ясное дело. Слали исправно отчёты с сухими сводками смертей. Вот и отрядили человека на осмотр. Надёжного, с опытом. И — как Одинокоев верно угадывал про себя — такого, что и не вернётся, так беды мало.

Переправившись на ялике, Одинокоев зашагал по осенней лиственной каше, замешенной на бурой грязи. В роце бестолково отсчитывала земные сроки

кукушка. Давно зажившая нога привычно поднывала ниже пулевого шрама под коленом. Лёгкая хромота уже не мешала ходить. Кость цела, остальное маловажно. Кажется, эти слова он и говорил, морщась от боли, после того как сам извлёк пулю из кровоточащей раны. Тому восторженному мальчишке, красному комиссару, что по зиме белые утопили в речной полынье. Патроны сэкономили, обычное дело. Впрочем, неважно.

За деревьями Одинокоев легко различил косую ограду-плетень. Ведьмин частокол. Голов не хватает. Он прятал от леса приземистый белый дом. Перед крыльцом, у цвёлой лужи, копошились дети. Им было не до гостя по ту сторону плетня. Дети играли.

В центре круга лежала девчушка, с виду лет пяти-семи. Смоляная ворона, неясно своей ли смертью издохшая, припала к её плоской груди, распластав крылья. Руки девочки перекрещивались на спине мёртвой птицы, босые ноги были плотно сомкнуты, и на пальцы оказалась щедро насыпаны жухлая выгоревшая трава, мелкие камешки, пыль и всякий сор. Остальные шестеро малышей — пара мальчишек и четыре девчушки, мал мала меньше, — обтекая лежащую, цеплялись за руки, кружились хороводом, мычали заунывно. Одинокоев кашлянул. Нарочито громко. Круг распался, мелкотня ринулась врассыпную. Девчушка поднялась,

страхнула птицу и замерла, глядя на чужака исподлобья. «В городе юки, юные коммунисты, или как там их, первооткрывателей, кличут. Отряд «Спартак». Полезным заняты. А тут дичь да блажь. И зараза от мертвечины». Мысль была верная. Первая. А второй скользнуло понимание, что хороводная забава Анечке понравилась бы.

Девочка не отводила взгляда. Злые тёмные глаза сочились любопытством. Одинокоев улыбнулся криво. Обращаться с детьми он не умел. Лечить — всегда пожалуйста. А дальше без него. Рос он один, без сестёр и братьев. А с Анечкой малышкой так и не случилось. О первенце их он узнал в святки. Проговорилась ненароком: ходила к старухе — плод травить. Куда её обуза, молодая, жить хочется, жить! Во всю грудь, чтобы ненасытно соки счастья пить из серебристых бокалов, таких нелепых в её нищей угловой комнатушке-гробике. Второго ребёнка, долгожданного, Анечка потеряла от скверного пропитания и вечных волнений уже в Гражданскую. Одинокоев таскал её столько снеди, сколько умел добыть честным путём в лютый голод. Да вот не хватило. После чистки она лежала бледная, цеплялась за руку и молчала. В палате было тихо и душно, несвежие простыни тяжело разили потом. У высокой кривой койки стоял таз с липкими бурьми сгустками.

— Будет ещё у нас всё, — пробормотал Одинокоев сипло.

И щупал чужое запястье. Ловил пульс.

Если у него ещё и зачинались да заканчивались дети, так он не знал. Анечка замалчивала.

Ввинтившись в калитку, он безразлично обогнул девчонку. Мельком определил, что ворона у ног её — свежая. Разложилась мало.

— Не спи, дяденька! И окна закрывай! — крикнули ему в спину писклявым голосочком.

«Об антисанитарии доложить надо. Хотя в городских приёмниках разве лучше?»

Директрису звали Изольда. Женщина без возраста, тонкая, высокая, полностью седая. Сидна не признак старости. Седым был и тот вечно усталый белый офицер лет тридцати, что привозил Одинокovu новых раненых на операции. Кажется, это его потом закололи штыками красные у стены Всехсвятского храма. Неважно. Одинокov сухо озвучил цель инспекции. Директриса пожала плечами.

— Смотрите. Выделю комнату, обеспечу посещение. Сейчас у нас больных нет. А прошлые давно уже в земле.

Пол в директорском кабинете блестел стерильной чистотой надраенного паркета. Одинокov старался смотреть прямо перед собой. Мутило памятью.

Осмотр намекал: спровадили его сюда зря. Вши, дистрофия, ногтевая плесень — набор, обычный для ничейных детей при минимуме ухода. Личные дела

обозначали возраст пациентов: от пяти до десяти полных лет. Дефективные морально, некоторые с умственной отсталостью. Тихие, вялые, без обычной для их лет живости. Послушно раздевались, разрешали, не капризная, изучать кожный покров и слизистые. Оживила дело только бывшая владелица мёртвой вороны. Не ушла сразу после отрывистого: «Свободна. Зови следующего». Помялась, переступая с ноги на ногу. Взяла да и сунула деловито Одинокovu в ладонь тряпицу, из которой торчали сухие, горько пахнущие стебельки.

— Это ещё что?

— Одолень-трава, дядя, — девочка хихикнула, и эхо задякало по углам.

— Какая-какая трава? — название показалось незнакомым.

— От печали. Вам надо.

Выбросить, наверное, стоило всё же, когда дарительница не видит. Одинокov кивнул девочке. Тряпица казалась жестковатой на ощупь. Пока сунул ненужный подарок в карман, к Анечкиной фотокарточке.

Стоило отбывать. За окнами начинало сереть. Но бледная Изольда справилась тихо, когда он зашёл в кабинет попрощаться:

— У вас своя лодка?

Одинокov покачал головой. Почти угадывая, что ему сейчас скажут.

— Так куда вы, товарищ, собрались? В это время с острова только вплавать. Утром нам провизию

подвезут из Ростова. В самую рань, с рассветом, до завтрака. Тогда и вернётесь. На ночь я вас пристрою. Дом большой.

Стоило, конечно, позаботиться самому об обратном пути. Проморгал. Раньше дела не имел с островами. Всё детство пролетело безвыездно в тихом углу города, в доме с плачущим вальсами пианино. А в Гражданскую мир расширился до прокалённой жаром степи. Там-то он знал, как беречься. Степь — скверное место для войны. Открытое. Поди найди, где спрятаться от шальной пули. Зато конным есть где разойтись, да и для рукопашной раздолье. У островов же своя жизнь. Тут, конечно, не Беловодье и не Буян. Просто Зелёный. Подростовье. Глухомань. Вместо берёзок вверх корнями и камня-алатыря — одолень-трава темноглазой девчонки.

— Да уж позаботьтесь, — кивнул директорисе Одинокоев.

Бедро жало пустотой. Отсутствием револьвера. Комната, выделенная для отдыха, меблирована была скудно. Колченогая кровать с провисшей ржавой сеткой и пустой шкаф со стеклянными дверцами. Одинокоев не стал расстилать бельё. Лежал, рассматривал тёмную тень на потолке. Под боком валялся мешочек с сухой травой и фото Анечки в венке из искусственных цветов, изображавшей в кадре дриаду. Спать в незнакомом месте не хотелось. Лучше дома, утром, отдохнуть.

Началось за полночь. Бледная звёздочка полетела вниз, к лесу, отчеркнула раму из края в край. По коридору зашлёпали босые ноги. Дети или другие существа дёргали ручку закрытой на щеколду двери, хихикали, скреблись.

— Ша! Хорош баловаться! — прикрикнул Одинокоев.

Мычали, как прежде в хороваде. Перешёптывались и дышали. «В окна бы не лезли. Стекло. Порежутся, бинтовать», — мелькнуло в мыслях.

С чего бы им лезть? А с чего бы болеть и помирать?

Одинокоев погладил фотокарточку кончиками пальцев. Анечка-Анечка, где твоё тело? Я хотел, так хотел, чтобы всё случилось как положено. Дарил мохнатые астры, которые ты любила. Нанимал извозчика в синематограф. Я всегда, везде хотел правильно. Математика, логика, медицина. Зараза имеет источник. Легко угадать. И ты исправляешь, врачуешь хвори. Спасает живое от нежизни. Анечка-Анечка, разрыв-трава открывает любые замки. И если женщина изо льда их не удержит, они войдут ко мне. Зачем войдут? Разрыв-трава разорвала нас с тобой, разбросала. Она растёт на пятнистых обоях нашей комнатухи. В доме у железной дороги, где лунные бокалы дрожат под паровозные гудки. Поезд увезёт нас в Петроград, к твоим манерным писателям, к моему лучшему госпиталю с обширной

хирургической практикой, к водам тёмных каналов, к островам, откуда можно выбраться без урона. Но разрыв гниёт, разрыв прорастает сорняками. Отпусти меня, Анечка, отпусти!

— Дяденька, открой! Пошли с нами играть!

Одинокое на всякий случай встал. Прикинул: этаж первый, прыгать невысоко. Хотя, если за дверью просто малолетки дурчатся, чего пугаться? Да и не войдут они, пока сам не позовёт. Не смогут.

— Отвори! Мы тебе её покажем, дяденька! Невесту твою!

Мы должны были бы венчаться на том кладбище, где гуляли по аллеям. В храме Всехсвятском. Под которым крестики с именами и нету, нету общих солдатских могил. Когда ты держала кружку с горячим, смешно мизинец выпячивала. От тебя пахло дешёвым табаком и мятными леденцами вперемешку. Ты злилась на имя Анечка, как на всякую неловкую ласку. Анна, только так, целиком и полностью.

— Спать вам пора, — пробурчал в сторону дрожащей двери Одинокое.

Свет в комнату пробивался холодный, от полной луны. Сильно пахло мелом от чисто выбеленных стен. В стекле шкафа кривилось отражение. Умом Одинокое знал — его. Но вглядываться не стал. Он ещё в подвалах вглядываться отвык. Врача звали, чтобы привести в себя

очередного служивого, до того как спрашивать дальше. Хирург им был бы ни к чему, обошлись бы и фельдшером. Только вот притаскивали первого попавшегося из госпиталя неподалёку. Помогай, мол, или подменишь бедолагу. Одинокое научился забывать увиденное, равно как до того отстранялся от стрельбы на улицах. Дома Анечка. Если он тут сгинет, кому её кормить? Пол был чистый от частого мытья. Пачкался. Прибраться надо. Одинокое даже и не запомнил: при красных это упало на него или при белых? Армии часто менялись в городе. Он не различал. Больные и так и сяк не переводились.

Дети замолчали. Может, надеялись, что гость решит поверить: ушли или нет. Сидели в засаде, мышата бестолковые. Одинокое развернул тряпицу и вдохнул терпкость одолень-травы.

А надо было уходить в Крым, а оттуда пароходом в турецкие края. Корабли-корабли, красно-красное синее море. Гимназические товарищи предлагали бежать. Говорили, мол, припишем к армии. Только нужен он им был без спутницы. Вот и остался. Анечка-Анечка, а нет, совсем нет никакого «правильно»! Есть болезнь-память, и она одолевает, она грызёт. И через реку, на дальних островах, собирают ежевику мои мёртвые. Ту самую ежевику со старой дачи, где мама в кружевной шали стоит на

крыльце. Улыбается. Слушает, как отец в доме играет на пианино. И мне пять лет, и кажется, что впереди ещё много-много жизни, и ничего не кончилось.

Анечка отворила дверцы шкафа. Высвободилась из отражения, шмыгнула в комнату. Ноги её, видневшиеся в прорехи рваного горелого платья, ещё не поджили, цвели сине-чёрными пятнами. Волосы вороньего цвета были всё так же аккуратно убраны в узел на затылке, как и обычно. Подошла сзади, обняла за плечи руками теплоты стьлого хрусталя. Сопротивляться бы. Да зачем?

— Набродился по степи?

— Я ведь в военврачи подраждался, чтобы забыть. Как ты... Как с тобой... Как тебя...

— Глупенький какой! — смех был завораживающий, русалий.

— Посидим рядом? Я наглядеться хочу. До крика петушиного.

Сетка скрипела под ними, прогибалась. Одинокое водил пальцами по резаным ранам на буреющей коже со следами земли. «Девку твою конные сволокли по вечеру. Ты погоди, может, вернут ещё». Нашёл он сам. Обошёл, что мог, и нашёл. Хоронили в закрытом гробу. Не красивая она стала, совсем некрасивая...

— Я в ту ночь, когда дежурил, не думал, что тебя утащат. Остался бы.

Анечка мурлыкала немую песню, ту же, что у кружащихся в

хороводе. Звёзды падали за подоконник. Одинокое дышал с ней в такт, чтобы не слышать, как скребутся в дверь их нерождённые дети. Когда зарозовело рассветом, неохотно отодвинулся к ржавой спинке кровати с крупными металлическими шарами.

— Пустишь меня с острова?

— Я-то да. А ты себя — сможешь?

Он кивнул, запоминая жадно лицо, запах, ощущение от её кожи и платья. Прощаться долго Одинокое никогда не любил.

На лодке с оказией он добрался к городу. Дон — река глубокая, но узкая. После стоял на берегу, смотрел в мутную воду на отражения дома и людей, медленно сворачивающиеся в черноту, под которой лишь водоросли и ил. Неподаляку пара крестьянской наружности перебирала свежеотловленную сельдь из самоделковатой сети. Крупную бросали в ведро, мелкой делились с облезлой чёрной кошкой, умильно мурлычущей у их ног.

— И когда там чаво построят? Пустует свято место, — пробурчала баба, косясь на зелёную кляксу острова.

— Кабы свято... — многозначительно протянул мужик.

Одинокое отвернулся от реки. Ступая по сырому песку, он и не заметил, как обронил фотокарточку. Ростов акварельно окутывало утренним туманом. Лаяли дерущиеся у рыбацких хибарок собаки. Влага в воздухе затрудняла дыхание. Пахло жизнью.